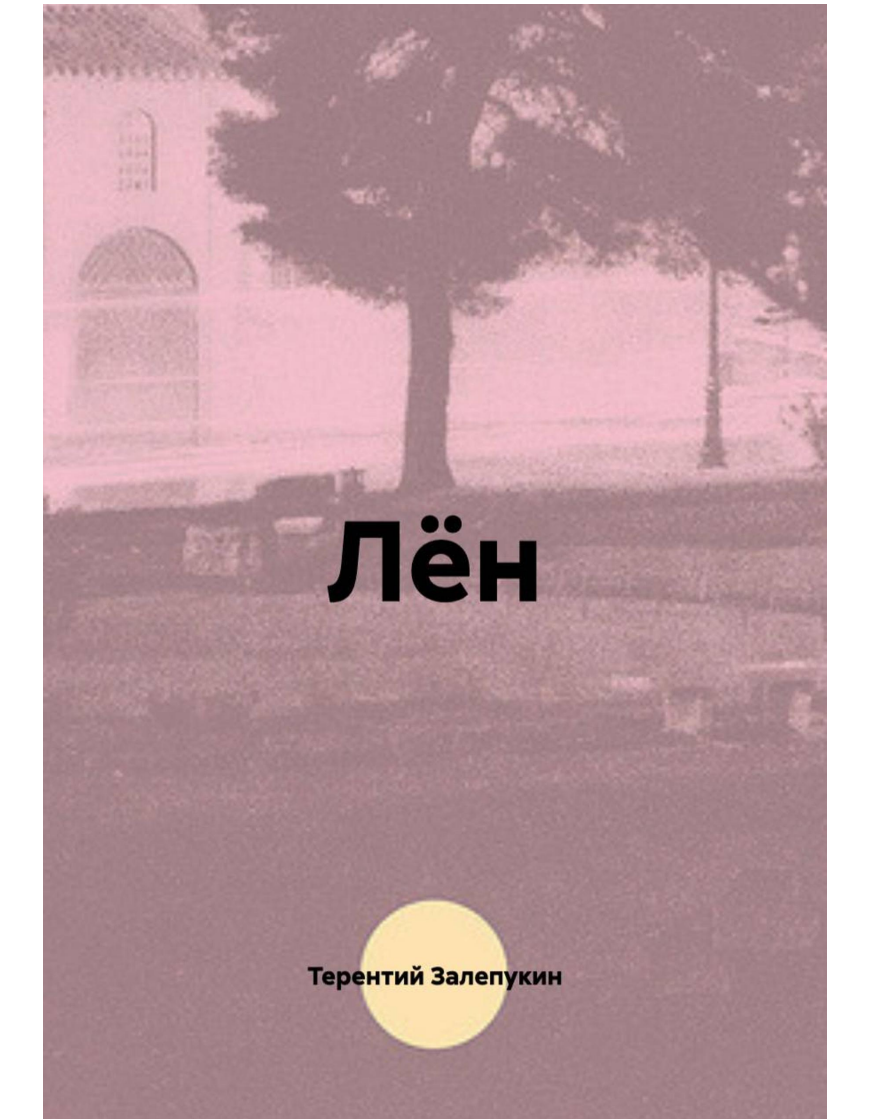




Лён

Терентий Залепукин

Терентий Залепукин Лён

<https://litres.ru/74264703>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сто девятнадцать лет санаторий принимал пациентов с диагнозом, который менял название, но не суть. За формулировкой стоял один и тот же вопрос: что делать с человеком, чьё поведение стало неудобным для окружающих?

Содержание

I	4
II	8
III	11
IV	14
V	18
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Терентий Залепукин

Лён

I

Санаторий стоял у воды так, будто вода была единственным его оправданием — весь фасад, каждое окно, каждая колонна с облупившейся охрой выстроились лицом к заливу, точно комиссия, вечно ожидающая инспекции. Была осень тысяча девятьсот седьмого, и туман приходил по утрам не как погода, а как персонал: он обходил палаты раньше сиделок, заглядывал в щели рам, оседал на медных ручках дверей мелкими каплями, которые к полудню стекали вниз тонкими, почти письменными линиями — словно кто-то невидимый расписывался за каждого пациента отдельно.

Доктор Аркадий Лиховцев вёл приём в угловом кабинете, где стены были обшиты дубовыми панелями до середины и выкрашены в блёклый берлинский синий выше — цвет, который он сам выбирал, полагая, что синева успокаивает возбуждённый ум скорее, чем зелень или жёлтый, столь модный тогда в столичных клиниках. На его столе, среди пресс-папье и стопки картонных карточек с именами, лежал бронзовый колокольчик — небольшой, потемневший от времени, с ручкой в форме виноградной лозы, которую кто-то из прежних

владельцев здания, видимо, счёл уместным украшением для места, посвящённого исцелению.

В карточке новой пациентки, Веры Николаевны С., тридцати двух лет, дворянского происхождения, значился диагноз, который Лиховцев вывел собственным почерком, с завитком на конце последней буквы, свойственным ему в минуты особого удовлетворения: «истощение нервов особого рода, сопряжённое с избыточной волей к самостоятельным суждениям». Он перечитал фразу дважды. Она нравилась ему своей обтекаемостью — диагноз этот можно было применить решительно к кому угодно: к женщине, отказавшейся от брака, к сыну, оспорившему завещание отца, к любому, чьё поведение создавало неудобства достаточной силы, чтобы семья согласилась оплатить содержание в заведении у залива.

Муж Веры Николаевны, невысокий господин с одышкой и часами на цепочке, которые он то и дело вынимал, не глядя на них, объяснил Лиховцеву в приёмной, что жена его в последний год пристрастилась к чтению книг, «не подходящих её положению», и начала оспаривать распоряжения по имени вслух, при прислуге, чем поставила семью в положение, близкое к скандальному. Лиховцев слушал, кивал, делал пометки — и думал не столько о симптомах, сколько о том, с какой лёгкостью муж произносил слово «положение», словно оно было медицинским термином не менее точным, чем пульс или температура.

Процедура, назначенная Вере Николаевне на первый вечер, называлась в санаторской документации «влажным обёртыванием» и состояла в следующем: пациентку укладывали на узкую кушетку, обёртывали холодной, только что отжатой льняной простынёй, от плеч до щиколоток, а поверх — шерстяным одеялом, чтобы удержать испарину; действие продолжалось около часа, за это время, по убеждению Лиховцева, происходило «оттягивание избыточного возбуждения к периферии тела». Перед началом процедуры сиделка трижды звонила в колокольчик — не по медицинской необходимости, но по традиции, заведённой ещё основателем санатория, доктором фон Крузе, полвека назад; сам звук был высокий, чуть надтреснутый, и разносился по коридору с равномерностью, которая со временем перестала пугать пациентов и начала, напротив, усыплять их, как усыпляет колокол на корабле, идущем сквозь туман по расписанию, известному одному штурману.

Вера Николаевна не кричала и не сопротивлялась. Она лежала, обёрнутая тканью, глядя в потолок, где трещина повторяла контур не то реки, не то вены, и думала — если верить записи сиделки, оставленной в тот вечер в журнале, — что холод простыни удивительно похож на холод, с которым муж когда-то, ещё в первый год их брака, объяснял ей устройство совместного капитала: подробно, терпеливо, снисходительно, будто она была ребёнком, которому наконец-то, из милости, доверяют взрослую тайну.

Лиховцев в эти минуты сидел у себя в кабинете и надписывал следующую карточку. Колокольчик, вернувшись после процедуры на своё место на столе, слегка позванивал от сквозняка — тонко, почти извиняющимся звуком, — и доктор, не поднимая головы, механически придержал его пальцем, чтобы не мешал думать.

II

К концу пятой недели Вера Николаевна перестала спрашивать, когда за ней приедут. Это отметила сиделка Аграфена Тимофеевна в журнале — не как улучшение, а с некоторой оторопью, будто молчание пациентки нарушало установленный порядок вещей больше, чем прежние её вопросы. Лиховцев, читая запись, испытал нечто похожее на удовлетворение профессионала и вместе с тем едва уловимую тревогу, происхождение которой он не стал бы объяснять даже самому себе: тревога эта касалась не здоровья Веры Николаевны, а того обстоятельства, что диагноз, вписанный им пять недель назад с таким изяществом почерка, начинал сбываться буквально — пациентка действительно теряла ту самую «избыточную волю к самостоятельным суждениям», о которой шла речь в карточке, и терять её она стала не вопреки лечению, а благодаря ему.

Муж приезжал по субботам, всегда в одно и то же время, всегда с корзиной фруктов, которую передавал через сиделку, не поднимаясь на второй этаж, где располагались женские палаты; он объяснял это заботой о репутации санатория — присутствие мужчины среди пациенток могло, по его словам, «взволновать нервную атмосферу отделения». Лиховцев подозревал иную причину, но подозрение своё держал при себе, поскольку счёт за содержание Веры Николаевны оплачи-

вался исправно и без единой задержки, а исправность эта в делах санатория ценилась куда выше, чем ясность мотивов плательщика.

Процедуры продолжались по расписанию: понедельник, среда, пятница — колокольчик, простыня, час тишины под шерстяным одеялом. Аграфена Тимофеевна заметила, что Вера Николаевна к пятой неделе научилась ложиться на кушетку сама, без понуждения, укладывая руки вдоль тела почти торжественно, как укладывают их покойнику, — и это добровольное, отрепетированное движение тревожило сиделку сильнее, чем прежнее сопротивление пациентки в первые дни. Тогда она хотя бы вырывалась, спрашивала, за что; теперь она молчала так, точно вопрос «за что» перестал казаться ей уместным — не потому что нашла ответ, а потому что перестала верить в само существование ответа, который был бы обращён к ней, а не к её положению, к её имени в семейных бумагах, к сумме на счёте мужа.

Лиховцев, обдумывая случай Веры Николаевны для доклада, который он готовил к весенней конференции столичного общества психиатров, сформулировал наблюдение, показавшееся ему тогда особенно точным: подлинное излечение, писал он, состоит не в возвращении пациента к прежнему состоянию, но в его согласии с новым. Он не заметил — или не позволил себе заметить, — что формула эта одинаково хорошо описывала и выздоровление, и его полную противоположность, и что различить одно от другого можно было

бы разве что по тому, кто именно выигрывал от согласия пациента: сам пациент или тот, кто оплачивал счета.

В начале декабря Веру Николаевну навестила её младшая сестра, Ольга, приехавшая без предупреждения мужа, вопреки протоколу санатория, требовавшему письменного разрешения от опекуна на любое постороннее посещение. Правило это Лиховцев в тот раз нарушил сам, впустив Ольгу в палату без бумаг, — не из сострадания, как он объяснял себе позже, а из чистого научного любопытства: ему хотелось увидеть, вызовет ли появление близкого человека какую-либо реакцию у пациентки, чьё «излечение» он готовился представить как образцовое.

Реакции не последовало. Вера Николаевна подняла глаза на сестру, узнала её — это было заметно по едва уловимому движению бровей, — и произнесла только: «Тебе не следовало приезжать без разрешения Николая Петровича». Ольга простояла в дверях ещё несколько минут, не в силах ответить, а затем вышла в коридор, где, прислонившись к дубовой панели, заплакала тихо, стараясь не привлекать внимания персонала. Из кабинета доктора доносился тонкий, надтреснутый звон колокольчика — начиналась очередная процедура для другой пациентки, чьё имя в этой истории не сохранилось.

III

В феврале, когда залив покрылся тем матовым, обманчиво крепким льдом, что заставляет местных мальчишек испытывать судьбу, а приезжих — восхищаться пейзажем, не подозревая о толщине, Николай Петрович явился в санаторий не в субботу, а во вторник, и не с корзиной фруктов, а с нотариусом.

Лиховцев принял их в своём кабинете, за тем же столом, где стоял колокольчик, — и заметил, что нотариус, человек сухой и методичный, разложил бумаги с той же аккуратностью, с какой сиделки раскладывали льняные простыни перед процедурой: край к краю, без единой складки. Речь шла об учреждении опеки над имуществом Веры Николаевны в полном объёме — Николай Петрович объяснял это необходимостью «оградить супругу от бремени решений, кои ей в нынешнем состоянии не по силам», и произносил фразу эту с таким видом, точно она принадлежала не ему, а какому-то высшему, безличному авторитету, от лица которого он был лишь уполномочен говорить.

Требовалось заключение врача. Лиховцев взял перо, обмахнул его, и на мгновение — только на мгновение — рука его замерла над листом, как замирает рука человека, вспомнившего на середине знакомой дороги, что где-то здесь, среди неотличимых друг от друга поворотов, был один, которо-

го следовало избежать. Он вспомнил формулировку из собственного доклада: согласие пациента с новым состоянием есть подлинное излечение. Вспомнил и то, что не дописал тогда: чьё именно согласие в итоге оплачивается, а чьё — только предполагается.

Заключение он подписал. В нём значилось, что Вера Николаевна С. вследствие «истощения нервов особого рода» утратила способность к самостоятельному управлению делами и нуждается в постоянном попечении. Формулировка была почти дословно та же, что и в первичной карточке пять месяцев назад, — разница состояла лишь в одном слове: тогда речь шла об «избыточной воле», теперь — о полном её отсутствии. Диагноз, иными словами, совершил полный оборот, оставшись при этом, по существу, неизменным: он по-прежнему означал не состояние тела или ума, а степень удобства, которую тело или ум предоставляли окружающим.

Вечером того же дня Аграфена Тимофеевна, разнося ужин, застала Веру Николаевну у окна — та стояла, прижавшись лбом к стеклу, и смотрела на лёд залива с тем вниманием, какое обычно уделяют не пейзажу, а расчёту. Сиделка спросила, не холодно ли ей, и Вера Николаевна ответила не сразу, а когда ответила, голос её прозвучал ровно, почти академически: «Я думаю о том, Аграфена Тимофеевна, сколько человек нужно, чтобы решить, что я нездорова, и сколько — чтобы это перестало быть решением, а стало фактом. Кажется, счёт замкнулся сегодня на трёх: муже, нотариусе и

докторе. Три подписи — и меня больше нет, при том что тело моё, как видите, стоит у окна и вполне отчётливо считает льдины».

Аграфена Тимофеевна не нашлась, что ответить, и вышла, оставив поднос на столике нетронутым.

Той же ночью, как записано в санаторском журнале сухим казённым слогом, не допускающим сомнений в собственной беспристрастности, Вера Николаевна С. скончалась во сне «от осложнений нервного истощения». Причина смерти вопросов не вызвала: свидетельство подписал Лиховцев, колокольчик на его столе простоял всю ночь неподвижно, а лёд на заливе, если верить более поздним, менее казённым источникам, в ту ночь треснул в одном месте — там, где, по свидетельству сторожа, кто-то, по всей видимости, всё же рискнул проверить его на прочность.

IV

Архив хранился в подвале восточного крыла, в помещении, которое в документах девятнадцатого века значилось как «кладовая аптечная», а теперь было просто выкрашено люминесцентной лампой в тот безжалостный белый цвет, при котором пыль на картонных коробках выглядит не столько признаком запустения, сколько уликой. Игорь Аркадьевич Ремез, застройщик, чья фирма приобрела санаторий три месяца назад, спускался в подвал третий вечер подряд. Формально он мог бы поручить опись студенту-практиканту за скромную плату.

Его задача была проста до банальности: описать содержимое архива, составить опись для передачи в городской исторический фонд, получить справку об отсутствии в делах материалов, представляющих государственную или личную тайну, — и с этой справкой закрыть последний пункт в перечне условий, отделявших его от подписи главного архитектора города на разрешении. Полтора месяца, по расчётам юриста. Практикант справился бы за две недели.

Но Ремез спускался сам. Он говорил себе — а иногда и партнёру по проекту, невысокому человеку с привычкой поправлять очки указательным пальцем, — что дело в контроле качества, в риске, что случайный студент упустит документ, способный обернуться судебным иском от чьих-ни-

будь потомков. Объяснение это выдерживало проверку логикой ровно до той минуты, пока он не открывал очередную папку и не понимал, с каким нетерпением, граничащим со стыдом, ждал этого момента весь день.

Дело Веры Николаевны С. попало ему на второй вечер, между отчётами о закупке угля за тысяча девятьсот седьмой год и перепиской о ремонте кровли восточного флигеля. Он читал карточку доктора Лиховцева трижды подряд, останавливаясь каждый раз на одной и той же фразе — «истощение нервов особого рода, сопряжённое с избыточной волей к самостоятельным суждениям», — и с каждым разом фраза эта звучала для него не архаичнее, а, напротив, всё более узнаваемой, точно он уже слышал её однажды, только другими словами, в другом кабинете, произнесённую другим голосом, но фактически — той же самой.

Он отложил папку, встал, прошёлся между стеллажами, тронул пальцем корешок соседней коробки — не потому что она его интересовала, а чтобы дать рукам занятие, отдельное от мыслей. За окном подвала, узким и полузамазанным извёсткой, темнело; где-то наверху звякнуло что-то металлическое — вероятно, охранник задел ведро на лестнице, — и звук этот, короткий, дребезжащий, заставил Ремеза замереть на секунду дольше, чем того требовала простая реакция на шум.

Он вернулся к столу, открыл ноутбук и начал набирать опись для фонда: «Дело №14, 1907 год, история болезни па-

циентки С., 32 года, диагноз согласно медицинской практике эпохи...» — и остановился, не дописав. Слово «согласно» показалось ему вдруг слишком мягким, слишком услужливым по отношению к тому, что он только что прочитал. Он стёр фразу и написал заново, суше: «Дело №14. Документ подлежит архивации без купюр». Затем, после паузы, добавил внизу страницы, уже не для фонда, а, кажется, для себя одного, короткую пометку без даты: «Кто первым решил, что это болезнь?» и тут же, устыдившись вопроса, не имевшего отношения к его собственно должностным обязанностям, закрыл файл.

Наверху, в квартире, которую он снимал уже второй год после развода — квартире слишком просторной для одного человека и обставленной с той нарочитой аккуратностью, с какой обставляют жилище люди, боящиеся, что беспорядок выдаст в них что-то, чего они сами предпочли бы не знать, — его ждало письмо от адвоката бывшей жены: очередное уточнение по разделу имущества, касающееся, помимо прочего, доли в наследстве, через которое, собственно, и был получен когда-то этот участок земли у залива. Ремез прочитал письмо стоя, не раздеваясь, всё ещё в пальто, пахнущем подвальной сыростью архива, и подумал, без всякой видимой связи с текстом письма, о докладе доктора Лиховцева, упомянутом в одной из папок: подлинное излечение состоит в согласии пациента с новым состоянием.

Он не смог бы объяснить, почему эта фраза, написанная

сто с лишним лет назад чужим, давно умершим человеком, показалась ему вдруг обращённой лично к нему.

V

Тысяча девятьсот тридцать восьмой год пришёл в санаторий не бурей, как можно было бы ожидать от эпохи, но перекраской стен: кабинет, некогда синий, к тому времени уже дважды меняли — сначала на нейтральный серый, теперь на светло-зелёный, цвет, выбранный не по вкусу, а по инструкции Наркомздрава, рекомендовавшей его как «наиболее соответствующий требованиям гигиены нервнобольного пролетарского сознания». Доктор Пётр Ильич Стеблов, занявший угловой кабинет три года назад, находил формулировку неуклюжей, но вслух этого не высказывал — привычка, которую он культивировал с прилежанием человека, однажды научившегося на горьком опыте различать мысли, годные для дневника, и мысли, годные для собрания.

Колокольчик всё ещё лежал на столе, хотя пресс-папье и картонные карточки давно уступили место бланкам единого образца, отпечатанным типографским способом, с графами, не оставлявшими врачу пространства для собственного слова: «диагноз», «социальное происхождение», «трудоспособность до поступления», «рекомендуемый режим». Стеблов вписывал в первую графу формулировку, которую сам же и отстаивал на консилиуме прошлой осенью против коллеги, предпочитавшего термин попроще: не «истощение нервов особого рода» — фраза эта отдавала теперь чем-то до-

революционным, почти неприличным, — а «астенический синдром на почве индивидуалистических установок личности», термин, за который Стеблов получил благодарность от районного отдела здравоохранения и который означал то же самое, что и формулировка Лиховцева тридцать лет назад: несогласие человека с тем, что от него требуется.

Пациент, поступивший в тот вторник, был мужчина сорока одного года, инженер путей сообщения по фамилии Гринёв, направленный на освидетельствование после того, как на общем собрании треста публично усомнился в целесообразности плана, спущенного из главка, и назвал цифры плана — Стеблов записал это со слов сопровождающего почти дословно — «результатом канцелярского оптимизма, не считающегося с сопроматом». Формулировка эта, произнесённая при свидетелях, стоила Гринёву не выговора, как можно было бы ожидать десятию годами раньше, а направления на обследование: коллектив треста, по заключению партийной ячейки, усмотрел в его поведении «признаки нездоровой обособленности от линии коллектива».

Стеблов слушал историю болезни, вписанную сопровождающим со слов начальника треста, и испытывал знакомое ему по десяткам подобных случаев ощущение, которое он для себя называл — тоже не вслух — «техническим совпадением»: цифры Гринёва, изложенные в объяснительной записке, приобщённой к делу, были безупречны; ошибка плана, о которой он говорил, действительно подтвердилась впо-

следствии при аварии на соседнем участке, случившейся уже после его госпитализации. Обстоятельство это в карточку Стеблов не внёс — не по злему умыслу, а потому, что графа «объективная правота пациента» в бланке единого образца попросту отсутствовала, а придумывать графы самому означало брать на себя ответственность, для которой у доктора, как он честно признавался себе по вечерам, не доставало ни должности, ни, если быть до конца откровенным, смелости.

Процедура влажного обёртывания к тому времени была переименована в документах в «гидротерапевтическую седуацию», хотя выполнялась той же сестрой-хозяйкой, обучавшей новеньких санитарок движению, которое она сама называла, за неимением инструкции, просто «завернуть по-старому»: холодная простыня от плеч до щиколоток, шерстяное одеяло сверху, час тишины. Колокольчик перед началом звонил трижды по-прежнему — никто не отменял этого правила, поскольку никто, начиная с самого Стеблова, не готов был взять на себя ответственность объявить традицию бессмысленной, а вдруг в ней заключался какой-то терапевтический смысл, недоступный современной науке, но известный основателям.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.